ДМИТРИЙ ШАЛИН

# «СКАЗКОБЫЛЬ»

## *Заметки о рецессивных генах русской культуры*

**«Сказкобыль» Зары Абдуллаевой я читал первый раз в самолете по дороге в Нью-Йорк. Еще до посадки ощутил знакомый полемический зуд, тот самый, что стравливал меня с друзьями в кухонных дебатах минувшей эры. Захотелось ответить, но не знал, хватит ли языка. Последний раз мне пришлось писать по-русски пространное эссе в 1975 году в Риме, когда в ожидании американской визы я взялся за статью о каких-то советских проблемах. Однако соблазн был слишком велик. Мои московские и питерские встречи напомнили мне и ту Россию, от которой я сбежал, и ту, которую потерял. Пишу главным образом, чтобы прояснить смутные чувства, вызванные возвращением домой. Я пытался сформулировать свои впечатления еще в Москве, но мои потуги только вызывали улыбку, не столько снисходительную, сколько сочувственную: «Как все-таки человек оторвался от почвы!» И все же что-то для себя я прояснил, наметил связь между полузабытыми сюжетами вчерашнего дня и сегодняшними темами. Заметки мои несколько разрозненные, но надеюсь, что они передадут общее направление моих мыслей. Итак, как говорит один американский антигерой — «Here we go again!»**

* * *

В самом начале 70-х, на втором году аспирантуры, я написал статью «К концепции социального генотипа русской культуры». Идея была в чем-то схожа с работой Абдуллаевой о русско-советском фольклоре, опубликованной в начале 1992 года «Искусством кино» под названием «Сказкобыль».

Дьяк тайного приказа времен Ивана Грозного, заплечных дел мастера по «слову и делу государеву» Петровской поры, бюрократы Третьего отделения Николаевских лет, спецы ЧК– НКВД–КГБ — все эти исторические персонажи, рассуждал я, суть один социальный тип. То же самое можно сказать о партийных вельможах и их предшественниках из имперской бюрократии — работа лица, манера двигаться, вальяжная кичливость — все это растет из одного корня. Даже повадки диссидентов в чем-то повторяют русский культурный код: они столь же нетерпимы к инакомыслию в собственной среде, как и их оппоненты у власти. «Расшифровать генетический код русской культуры» — так амбициозно сформулировал я программу будущих исследований. Задачу эту я поставил в самых общих чертах, указав на работы Ирвинга Гофмана по ролевой теории как наиболее перспективные для ее решения. Заниматься этой проблематикой мне не пришлось (зарабатывать на хлеб русскими темами эмигранту в Америке дело сложное). Сегодня же эта тема, мелькающая на страницах русских газет и журналов, снова привлекла мое внимание.

«Сказкобыль» — замечательный этюд о русско-советской действительности, связывающий воедино наративное искусство русских сказок, советских песен, полити-

---

Дмитрий Николаевич Шалин (род. в 1947 г. в Ленинграде) — социолог, закончил философский факультет ЛГУ и аспирантуру института социологии АН СССР. В 1975 году эмигрировал в США, закончил аспирантуру Колумбийского университета, профессор социологии университета в Неваде (Лас-Вегас), руководитель русско-американского проекта по исследованию русской культуры. Первый том издаваемого им труда «Россия на перепутье: перестройка» выходит в 1995 г.

© Дмитрий Шалин

© «Звезда»

ческих лозунгов и литературных образов. Каждой фольклорной мифологеме здесь найден советский аналог.

Запредельность и ирреальность тридесятого царства — это прототип коммунистического будущего. Алкогольное сознание, с легкостью отождествляющее предельные крайности (пить или не пить?), предвосхищает закон единства и борьбы противоположностей. Одержимость трудными задачами и туманными целями (пойди туда сам не знаю куда, принеси то...) находит свое выражение в маниакальном стремлении советских властей повернуть вспять реки, освоить целину, построить самую большую в мире ГЭС. Отвращение к работе, упование на чудо и авось, предпочтение интуиции разуму также легко распознаются советским человеком как знакомые формы его бытия. Здесь много тонких аллюзий, нетривиальных аналогий, эрудиции. Сила статьи в ее завязанности на текст. Но в этом же и ее слабость, поскольку тот же текст или часть его, опущенная интерпретатором, может читаться по-другому.

Работа эта странным образом напомнила мне фильм Говорухина «Россия, которую мы потеряли». Говорухин доказывал, что настоящая Россия выродилась, что большевики вытравили из нее все святое и благородное, а автор «Сказкобыли» утверждает, что Россия советская воспроизводит древний архетип, что она плоть от плоти русской культуры. В обоих случаях остается неясным, откуда взялся автор. Где был Говорухин в те лихие советские времена: помогал большевикам изводить святую Русь, лелеял остатки великой культуры или делал сразу и то и другое? И как смогла Абдуллаева подняться над своей русско-советской действительностью и проникнуть в ее сокровенные тайны? Помните парадокс: «Все жители острова Крит — лжецы, — говорит житель Крита».

Конечно, два эти автора друг на друга совсем не похожи: один — страстный пропагандист, другой — свободный художник, презирающий политические игры. Но стратегия интерпретации — герменевтика — в обоих случаях схожая. Факты говорят здесь сами за себя, покорно раскрывая толкователю свой подлинный смысл. Даже лексика здесь (кстати, совсем не свойственная авторской манере Абдуллаевой) взывает, увещевает, навязывает. «Вот загадка загадок». «Вот в какой колодец зарыта «слезинка ребенка» Достоевского». «Вот где могила, на которой расцвела подвижность, отзывчивость... загадочной русской души». «Вот экзистенциальное зерно русской драмы». Это все на одной странице, и далее в том же духе, мол, здесь-то собака и зарыта, смысл в себе раскрыт тебе, читатель. Вроде как бы ирония, вроде как бы и пафос, но суть та же: иного не дано.

Слово «герменевтика», означающее искусство толкования или интерпретации, идет от древнегреческого божества Гермеса, в чьи полномочия входило объяснять простым смертным на понятном для них языке смысл божественных указов. Издавались они на Олимпе, а интерпретировались на земле. Правильная трактовка должна была сохранить божественно-предопределенный смысл. Классическая библейская экзегетика строилась на том же стремлении вычерпать из Святого писания его первородное значение, по возможности избегая ревизионизма.

Современная герменевтика, восходящая к Фридриху Шлейермахеру, начинает не с интерпретируемого текста, а с истолкователя, с того вполне определенного исторического бугра, с которого он пускается в свой поиск. Эта герменевтика рефлексивна: раскрытие собственных предрассудков здесь обязательная предпосылка осмысления текста. Последний историчен не только потому, что отражает контекст, подтекст и супертекст своего времени, но и потому, что он продолжает жить и развиваться во времени, приобретая новый смысл с каждым поколением толкователей. Отсюда и провокационное заявление Шлейермахера: «Каждая интерпретация есть самая лучшая».

Ганс-Георг Гадамер, последователь Шлейермахера, говорит, что идет непрерывный диалог между прошлым и настоящим, традицией и современностью, и в этом диалоге непрерывно раскрываются новые смысловые пласты. Иначе говоря, текст историчен, а история текстуальна — нет текста вне исторического контекста, как нет истории вне суммы ее разноголосых текстов. Если этот подход оставляет традицию принципиально открытой, то тотализирующая герменевтика Абдуллаевой (равно как и Говорухина) ставит под сомнение плодотворность будущих ревизий. То, что существует экзегетическая традиция и альтернативные прочтения, автор не отрицает, но берет из них (в данном случае из Проппа) только то, что подтверждает собственную позицию. Без видимой точки опоры автор творит свой суд над историей культуры, как бы провозглашая при этом свою непричастность культурно-историческому действию.

Но без точки отсчета, явной или не явной, не обходится ни одна интерпретация. Это относится и к «Сказкобыли», появившейся на свет в сегодняшней России со всеми ее реформистскими претензиями, красно-коричневыми вывертами и экономическим развалом. Померанц окрестил эту Россию «абсурдом в третьей степени». Запрограммированное в русском фольклоре и многократно растиражированное в литературе,

алкогольное сознание видится сегодня самой адекватной формой отражения этого абсурда, психологическим инвариантом бытия русской культуры — вчерашней, сегодняшней, завтрашней. Но возможны и альтернативные толкования.

Согласно «Сказкобыли», тридесятое царство — прообраз коммунистического общества. Пир здесь идет горой, царит всеобщее изобилие и никто не работает. Такая вот национальная утопия. Но идеал этот — идеал возвращения потерянного рая — восходит к Ветхому Завету и в той или иной форме присутствует у Августина, Данте, Мильтона, Франклина, Гегеля и Маркса. Идеал один, средства разные, а что следует и что не следует из этого образа будущего, не очевидно. Расплывчатые цели и невыполнимые задачи, настаивает автор, присущи русскому фольклору и советской идеологии. А как насчет легенд короля Артура и рыцарей круглого стола с их походами на край света, битвами с огнедышащими драконами и чудесными приключениями претендентов на руку дочери короля? Вряд ли найдется народ, в чьем фольклоре не прослеживались бы волшебные мотивы и тяга к чудесам, желание выполнить невыполнимые задачи (при случае обратите внимание на слова знаменитой песни Саймона и Гарфункеля Scarborough Fair — прекрасный образец невыполнимых задач, почерпнутый из западного фольклора).

Если верить «Сказкобыли», то русско-советское алкогольное сознание, с легкостью отождествляющее любые крайности, зашифровано в марксистском законе единства и борьбы противоположностей. Но закон этот сформулирован Гегелем, а тот находит его истоки у Гераклита Темного. Значит ли это, что алкогольное сознание присуще всей индоевропейской цивилизации?

«Мифы, — читаем далее, — первоначальная стадия сказки, одна из составных частей марксизма». Мифотворческое сознание уводит от реальности, помогает маскировать зияющие высоты и возводить потемкинские деревни. Но не слишком ли уж резко разведены здесь миф и реальность, мистификация и действительность? Мне кажется более плодотворной иная точка зрения, а именно, что миф лежит в основе всей предметной реальности. Современная «научная» цивилизация так же замешана на прибаутках, метафорах и сказках, как и древнегреческая (возьмите к примеру такие догмы научного сознания, как tertium non datur, ceteris paribus, ex cathedra, etcetera clause, и т. д.). Миф (символ, метафора, теория) фиксирует внимание на гештальте и затушевывает аномалии и таким образом помогает трансформировать хаос повседневной жизни в упорядоченный поток объективной реальности. Заменить одну реальность на другую можно лишь с помощью еще одного мифа, свежей метафоры, новой теории.

Мифотворческие основания собственной риторики не интересуют автора «Сказкобыли». Как художник он на это имеет полное право, как исследователь — нет Потому так режет глаз, когда автор проходит мимо неудобных сюжетов или загоняет противоречия в свою схему. Скажем, между делом отмечается, что Емеля из сказки «По щучьему велению», этот классический Иван-дурак, «поэтическая душа, радующаяся единственно красоте», захотел под конец своих приключений стать как все — «умным и красивым». Но вместо того чтобы зарегистрировать эту смысловую аномалию и уточнить изначальный тезис о примате в русской культуре художественно-иррационального начала, автор заключает, что Емеля следует знакомому императиву алкогольного сознания: «А ты меня уважаешь?» Но исключения не обязательно подтверждают правила; они также указывают на еще не раскрытые закономерности и возможности прочтения, заживо погребенные канонической интерпретацией.

«Сказкобыль» раскрывает возможности и пределы всей текстоцентричной традиции русской культурологии. Последняя исходит из того, что в тексте нет ничего случайного, что каждый эпизод, стилистический ход, даже внешняя алогичность имеют свою функцию в контексте общего целого. Но стройность схемы достается здесь дорогой ценой. Стратегическая неопределенность, полифоничность текста, богатство смысловых нюансов, которые позволяют каждому поколению «вчитывать — вычитывать» из него мудрость для себя и своих потомков, задавлены авторитетом лингвистического кода, индифферентного к хаосу нераскодированной повседневности. Вне поля зрения осталась прагматика — отношение формального знака и вневременного значения к развернутому в пространстве и времени событию, к живому действию с его бесконечными сюрпризами, исключениями и метафорами. Чтобы понять эту связь, нужно выйти за рамки текста и проследить, как данный культурный код расшифровывается живыми людьми. Вот здесь-то и обнаруживается, что в обиходе много разных кодов, что они борются друг с другом за контроль над сознанием, что каждый из них в конечном счете абстракция, и что пропагандируя тот или иной код как самый адекватный, мы помогаем подгонять реальность под канон.

Обратите внимание, что в пословицах и поговорках всех народов можно найти взаимно исключающие мысли. На каждую пословицу, славящую дружбу, находится другая с советом на друга надеяться, но самому не плошать (так сказать, «Не имей

сто рублей, а табачок врозь»). «Не в деньгах счастье», — увещевает одна пословица, а другая наставляет: «Богатство любую дверь открывает». «Сама себя раба бьет, коль не чисто жнет», — поучает народная заповедь и тут же подмигивает: «Работа дураков любит». Эта семантическая неопределенность не случайна; мудрость фольклора в его смысловой антиномичности, в его полисемических ресурсах, в том, что он оставляет за его творцами и потребителями самую широкую свободу действия и интерпретации в зависимости от обстоятельств.

В еще большей степени это касается литературы. И у Чехова, и у Толстого, и даже у Достоевского, не говоря уже о Бунине, Короленко, Лескове, Булгакове и Зощенко, можно найти персонажи и коллизии, ничего общего не имеющие со вселенской русской тоской и максимализмом. То же самое можно сказать о русской интеллигенции в целом. Сегодня принято подчеркивать ее нетерпимость и утопичность и мало говорится о ее других ипостасях. Но в ее святцах числятся имена не только Белинского, Чернышевского, Писарева, Лаврова, Нечаева, Ленина, Жданова, Кожевникова, Проханова, но также и Станкевича, Герцена, Тургенева, Короленко, Чехова, Флоровского, Флоренского, Булгакова и Федотова. Добавьте к этому списку Лосева, Окуджаву, Аверинцева, Битова, и тогда окажется, что второй список длиннее первого. Замечу, что люди из первого и из второго списка способны при случае выйти за рамки своего культурного амплуа и поменять лицо на маску, маску на лицо, личину на личность и личность на личину. Каков «на самом деле» социальный генотип русской интеллигенции, еще шире — русской культуры, не столь очевидно, и если уж говорить о нем, то непременно с учетом невостребованных вариантов и нераскодированных потенций. Я думаю, что социальный код русской культуры содержит много здоровых «генов» — текстов, сценариев, ролей. Они часто остаются рецессивными и не оказывают должного влияния на культурный генотип, но они есть, их стоит культивировать, и при определенных условиях они еще могут вывести русскую породу на уровень обычных человеческих стандартов.

Значит ли вышесказанное, что разговоры о культурном коде некорректны, что они только помогают затушевать пеструю реальность и маскировать идеологические предрассудки? Нет, не значит. Проблема культурного генотипа — национального характера, исторической судьбы, личного и общественного выбора — заслуживает всяческого внимания. Но она требует прагматического, а не только текстологического подхода.

Концепция русской культуры, запрограммированная в «Сказкобыли», не учитывает в полной мере того, что национальный характер это психосемиотическая структура, требующая ситуативной интерпретации. Это более, чем система знаков, ролей, сценариев, наративных приемов, как она понималась в тартуской семиотической школе. Это также и система неопределенностей, непредсказуемых действий, эмоциональных парадигм, не переводимых на язык текста и лингвистического кода. Классическая семиотика, восходящая к Фердинанду де Соссюру и взятая на вооружение Лотманом и тартуской школой, бинарна: знак здесь непосредственным образом связан со значением. Неклассическая семиотика Чарльза Пирса построена на триаде: знак, обозначаемый предмет/событие и интерпретирующий процесс, который трансформирует вещь в себе — хаос повседневности — в осмысленную объективную реальность. Без конкретного действия конкретных людей в конкретной ситуации знаковая ситуация отсутствует или, точнее, существует только как онтологическая возможность. Отсюда следующее принципиальное различие: в классической семиотике человек лишь продукт культуры, означаемое, а не производитель, означающее начало; это жертва культуры, реагирующая на типовую ситуацию на манер собаки Павлова. Для Пирса и прагматистов человек — существо, обреченное на свободу; он выбирает свои маски и риторику не как актер в заезженной пьесе, а как импровизатор в авангардистском театре, где сюжет дан в самой общей форме, оставляя за авторами-исполнителями значительную свободу действий. Повторяясь тысячи раз, привычные лицедейства входят в плоть человека, становятся его второй природой, но эта культурологическая заданность амплуа или личностного темперамента не лишает субъекта культуры возможности выбора, а следовательно, и ответственности за него. Культура понимается здесь не как система сакральных текстов и кодов, предопределяющих поведение, а как многоголосая, политекстуальная знаковая система, требующая ситуативной интерпретации и выбора между противоречивыми моделями чувства, мысли и действия. Чтобы сделать этот выбор сознательно, нужно выяснить, какие «культурные гены» в нашем национальном характере (историческом коде, культурологической системе, сакральном тексте, и т. д.) были доминантными и какие рецессивными.

Вот свидетельство Михаила Гершензона, взятое из его статьи в «Вехах»: «Между нами почти нет здоровых людей, все желчные, угрюмые, беспокойные лица, искаженные какой-нибудь тайной неудовлетворенностью; все недовольны, не то озлоблены,

не то огорчены... Мы заражаем друг друга желчностью и сумели до такой степени насытить, кажется, самую атмосферу нашим неврастеническим отношением к жизни, что свежий человек — например, те из нас, кто долго жил за границей — на первых порах задыхается, попав в нашу среду».

Сказано, пожалуй, слишком сильно, но Гершензон суммирует трансисторические особенности русской жизни. Я это остро почувствовал, возвратившись домой после долгих лет эмиграции. Эмоциональная среда обитания мне показалась здесь более загрязненной, чем физическая. Временами было трудно отделаться от ощущения, что я в эмоциональном хлеву, настолько люди казались мне неряшливыми, если не сказать нечистоплотными, в проявлении чувств. Дефицит положительных эмоций острейший: повсюду чувствовалась недобрая воля; каждый момент твой собеседник мог сорваться, съездить по физиономии тоном, взглядом, а то и тыльной стороной ладони. Эмоциональных калек на Руси всегда хватало, но такого количества вывихнутых душ не припомню.

Любопытно, что интеллигенция здесь если и отличается от народа, то не в лучшую сторону. При всей своей утонченности, она иногда поражает своей эмоциональной неинтеллигентностью, я бы даже сказал жестокостью. Говорю не только о Прохановых и Бондаревых, но и о людях вполне достойных, которые рассматривают несогласие с собственной позицией как знак интеллектуального и морального вырождения оппонента. Конечно, я утрирую; были и совсем другие встречи, другие эмоции. На всех Прохановых в России всегда найдется Ольга Фрейденберг. Помните ее слова: «Всюду, во всех учреждениях, во всех квартирах чадит склока, это порождение нашего порядка, совершенно новое понятие и новый термин, не переводимый ни на один культурный язык. Трудно объяснить, что это такое. Это низкая мелкая вражда, злобная групповщина одних против других, это ультрабессовестное злопыхательство, разводящее мелочные интриги. Это доносы, клевета, слежка, подсиживание, тайные кляузы, разжигание низменных страстишек одних против других. Напряженные до крайности нервы и моральное одичанье против другой группы людей, беспомощно озверевших, загнанных в застенок. Склока — это альфа и омега нашей политики. Склока — наша методология».

Я слишком мало был в России, чтобы судить о ее искусстве, но мне показалось, что духовное уродство сегодня одна из излюбленных тем. Это чувствовалось и в надсадных песнях, и в истерических пьесах, и в остервенелом кино. Я посмотрел несколько серьезных фильмов в Москве. Особенно запомнились «Счастливые дни», «Астенический синдром» и «Улыбка». Все эти фильмы, похоже, сделаны в одном эмоциональном ключе. Юродствующие персонажи, жестокие лица, искореженные судьбы — не тактика уже, а стратегия выжженной души. Апофеоз стервозности. Во время просмотра я чувствовал себя как герой из фильма «Заводной апельсин», привязанный к креслу перед киноэкраном и обреченный на промывание мозгов. И то, что фильмы блестящие, а авторы их талантливы, лишь увеличивало депрессию и усугубляло их дегуманизирующий эффект. Можно, конечно, говорить уроду, что он урод, повторяя правду-матку сорок раз кряду, но умно ли, надо ли? Может быть, и надо. Может быть, этот крик раненой души — прививка от остервенелости. И все же вездесущность этой эмоциональной парадигмы, назойливость, с которой на тебя ее натягивали, изматывала и подавляла.

На этом фоне даже «Маленький гигант большого секса» смотрелся с облегчением. Об этом фильме хорошо бы написать в паре с «Астеническим синдромом», потому что по своей бесшабашной разангажированности он представляет собой его дерзкую антитезу. Пусть юмор в этом фильме был плоским, пусть он из совсем другой лиги, но от него веяло забытыми человеческими чувствами, в нем была улыбка, ирония, а не просто цинизм и сарказм.

Ирония — это реакция живого человека на официоз, на казенный пафос созидания потемкинских деревень. Этот целительный акт самоотчуждения залог того, что постылая маска не прорастет в лицо. Это испытанное оружие духовного пролетариата, производящего ценности, безразличные, а чаще отвратительные его внутренней сути. В советские годы ирония позволяла нам сохранять «лица не общее выражение» под обязательной униформой духа. Но когда иронический способ существования заглушает другие модальности бытия, он из средства самозащиты становится орудием разрушения и в конечном счете оборачивается дурным пафосом — пафосом иронии, столь же разрушительным для иронизирующего, как и для предмета его иронии. Ирония, изначальный предмет которой собственное «я», здесь незаметно переходит в насмешку, в сарказм, отрицающий за другими право на собственное лицо, в цинизм по отношению ко всему на свете, включая самого себя.

Помните шутку Светлова? «Порядочный человек это тот, кто делает гадости с отвращением». Юморили по-черному, чтобы скрыть собственную несостоятельность, отшучивались, когда затаптывали кого-то в грязь. Нам гнули идеологические салазки, а мы сублимировались в анекдот. Насилие физическое, политическое, эстетическое,

эмоциональное, интеллектуальное — насилие, уходящее корнями в глубь русской истории, — не могло не закодироваться в нашем культурном генотипе. Отсюда архетипы русско-советской духовности: принципиальность, граничащая с нетерпимостью; этический максимализм, маскирующий моральную импотенцию; внутренняя свобода, освобождающая от личной ответственности; ироническая отстраненность, замешанная на неуважении к другим; презрение к праву, узаконивающее произвол, и так далее и тому подобное. Все мы, прошедшие через русский эмоциональный гулаг, в каком-то смысле «опущенные». Я говорю «мы» потому, что и я и другие беженцы из этого гулага навсегда сохраним на себе его клеймо.

Мне возразят, что я преувеличиваю значение эмоционального насилия в русской истории, что власть не только насилует, но и соблазняет, что эмоциональные перегрузки неизбежны в условиях беспредела, что психологические эксцессы всего лишь «шум», а не «сигнал», что без сверхангажированности не было бы русской литературы, отзывчивости, и проч. Эти возражения отчасти верны. Потому и воем, что режут по живому, как морских свинок без наркоза. Метафора эмоционального насилия и посттравматического шока, в котором страна пребывает после отмены зрелого социализма, не отражает того факта, что жизнь нормализуется и идет своим чередом в зоне. И в Аушвице люди влюблялись, острили, играли в карты, писали стихи... Но страшно как раз то, что можно нормализовать любой ад, превратить его в повседневную норму, найти в нем свою нишу, игнорировать как «шум» то, что человеку со стороны покажется жутким «сигналом». Вот этот эмоциональный шум и обращает сегодня на себя внимание как тревожный сигнал, как знак того, что старые эмоциональные парадигмы продолжают работать и воспроизводить старые отношения и институты, плохо закамуфлированные под новыми названиями.

И все же я думаю, что стервозность, доминирующая сегодня в России и делающая невозможным построение в ней гражданского общества, нельзя считать естественной формой ее бытия. Залог тому — люди, выработавшие иммунитет к стервозно-истерической реакции на русскую действительность, носители рецессивных генов русской культуры. Имена Меня, Аверинцева, Шейниса, Селюнина — людей, отмеченных высокой эмоциональной интеллигентностью, — приходят на ум. Да и в каждом из нас заложены рецессивные гены и регулярно прорываются здоровые человеческие эмоции. Вопрос, могут ли они стать доминантными.

Более чем когда бы то ни было сегодня нужна теория и, что важнее, практика не просто «малых», а «самых малых дел». Значительная роль здесь принадлежит все той же интеллигенции. Она, может быть, и сходит с авансцены русской истории, но ее исчезновение как привилегированного класса жрецов культуры не означает конец интеллигентности в чеховско-лосевском понимании этого слова. Программа знакомая: не поддаваться психозу, снижать уровень децибел в разговоре, действовать по доброй воле, быть терпимым с близкими, видеть разумное в заклятом враге, говорить «не знаю» там, где ясности нет и быть не может, культивировать чувство юмора и иронии, создавать островки эмоциональной интеллигентности, не превращаясь при этом в циника и не отказываясь от участия в общем деле. Эта программа интеллигентности и порядочности восходит к Станкевичу, Грановскому, Чичерину, Чехову, Гершензону, Струве и всем русским либералам прошлого и этого века, признававшим тот факт, что civic society и civility — гражданское общество и личная порядочность — в конечном счете одно и то же. Демократические институты не укоренятся без эмоциональной интеллигентности, как не может привиться дерево, которое не поливают. На мой взгляд, нет более гражданской позиции и более радикальной программы в настоящее время, чем позиция и программа личной эмоциональной интеллигентности — особенно в условиях сегодняшнего беспредела.

Замечу, что быть эмоционально интеллигентным не значит прилизывать эмоции, заботиться о том, чтобы все было цирлих-манирлих. Высокая экспрессивность, умение болеть за общее дело, способность чувствовать за себя и за других всегда были и останутся в числе самых привлекательных черт русских людей. Речь идет о человечности вне зависимости от того, с кем имеешь дело, об эмоциональной вменяемости, о том, чтобы эмоции наши были интеллигентными, а интеллект эмоционально здоровым. Культура кодируется не только в ее текстах и образе, но также и в ее эмоциональном настрое, в способе воспроизводства эмоций. И здесь же нужно искать пути ее преобразования.

* * *

Хорошо тебе поучать, сидя в Штатах, скажете вы, постоял бы в наших очередях, пообивал пороги местных учреждений, прошел бы через денежную реформу, сам бы надорвался. Скажете и будете правы. Помните слова Пушкина: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною

это чувство». То, что двадцать восемь лет своей жизни я провел в России, не меняет существа дела. Главная мысль моих заметок вполне тривиальна и отдает нравоучением. Но как я заметил вначале, заметки эти писались прежде всего, чтобы прояснить что-то самому себе, и это не только слова. Мои мысли о судьбах демократии в России имеют прямое отношение к главной теме моих профессиональных интересов — американской демократии. Демократия эта за последние два-три десятка лет порядком износилась. Когда эмоциональная среда обитания загрязняется — страшно выходить ночью на улицу, пустячный инцидент ведет к перестрелке, родители забивают ребенка до смерти, парламентарии публично обливают друг друга грязью, — то демократия перестает быть тем, чем она могла и должна была бы быть по замыслу ее основателей. In-your-face democracy is no democracy, как сказал бы американец. Без цивильности нет и не может быть цивилизованного общества, и никакие конституционные гарантии не остановят общего снижения качества жизни. Сталинская конституция признавала права человека — свободу слова, печати, собраний, вероисповедания и проч. Как и всякая система, демократия — это ее люди, их эмоции, чувства, помыслы, действия. Когда люди эти перестают чувствовать и действовать демократически, то приходит конец демократии. Пока они не научатся чувствовать и действовать сообразно идее гражданского общества, они будут жить в обществе другого рода. «Демократия начинается у нас дома» — сказал Джон Дьюи. В самом буквальном смысле. Если демократия в России так долго не приживалась, то это в какой-то мере потому, что ее интеллигенция, поглощенная борьбой с мещанством и обывательщиной, иноверцами и инородцами, демократами и либералами, реакционерами и контрреволюционерами, воспроизводила и продолжает воспроизводить в своей среде абсолютизм чувств и тоталитаризм эмоций.

Обратите внимание, как меняются русские люди на Западе. Все они какое-то время носили маски русского человека; печать своего культурного архетипа им уже не смыть; к тому же всех их изрядно покорежила эмиграция. Но прошло время, и они стали более терпимы, привыкли слушать не перебивая, научились поддерживать диалог вместо монолога, многие (не все!) нашли в себе силы обуздывать раздражительность, то есть заметно поправили свое эмоциональное здоровье. В то же время они включились в воспроизводство местного гражданского общества и его эмоциональной культуры. Не потому они уехали, что были другими, а потому стали другими, что уехали и попали в другую культуру. Эта метаморфоза прямо связана с местной политической и экономической экологией, определяющей особый, по-своему засоренный и все же более благоприятный для личности и демократии климат западной культуры. Эмоциональный ландшафт России другой: он сообразуется с местными политическими и экономическими институтами и требует особой эмоциональной гигиены. Что здесь первично, сказать трудно, поскольку причина и следствие в жизни постоянно меняются местами. Демократия приживается в определенном эмоциональном климате, а рыночная экономика невозможна без соответствующих моральных побуждений. Так или иначе, нельзя изменить экологию материальную, не затронув экологию духовную. И поскольку личность это одновременно означающее и означаемое, знак и демиург культуры, то начинать надо с себя, с собственных эмоций, затем помочь близким с их эмоциональными перегрузками, а там, глядишь, и дальше откликнутся.

Возвращаясь к своим старым заметкам о русской культуре, я вижу, что уже тогда, в начале 70-х, они питались моими эмиграционными настроениями и в свою очередь оправдывали их. «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России?» — писал Пушкин Вяземскому. «Если царь даст мне *слободу*, то я месяца не останусь». Так думал и я в те годы. И когда наконец возможность представилась, я убыл в известном направлении. Не место здесь пускаться в рассуждения о цене и моральности этого выбора. Я свой выбор сделал и давать советы тем, кто стоит перед ним сегодня, если вообще такой выбор есть, не хочу. Но родителям, озабоченным эмоциональным здоровьем своих детей, неплохо подумать о перемене климата. Можно послать все к чертям и уехать — ради детей, в надежде подлечить свое эмоциональное здоровье или просто чтоб пожить по-человечески остаток жизни. Как сказал Иосиф Бродский, «рекомендую США». Но ведь всем не уехать. Одни не сумеют, другие побоятся, третьи останутся по доброй воле — и не обязательно, чтобы вернуться в золотой век реального социализма, превратиться в «новых русских» или потихоньку доживать свой век. Вот этим третьим, готовым разгребать авгиевы конюшни русской духовности и культивировать рецессивные гены русской культуры, я и посвящаю свои заметки.